

В.Астафьев не хотел говорить о Чечне ("Не мне судить, я положения истинного не знаю"), но не мог не говорить:

— Нельзя было лезть в эту авантюру. То, что влезло, — глупость. А как замечать справедливо Платонов: глупость — самое дорогое дело. Глупость сотворена, может, даже преступление, которое не оправдывает никакая победа российской армии, потому что, известно, если победа достигнута с помощью насилия, она тоже — преступление. Не стану рассуждать, кто виновен больше, кто меньше, — у меня фактов нет для бесспорных умозаключений, но что я знаю твердо: генерал Ермолов с 250-тысячным войском воевал против 20 тысяч горцев, и война растянулась почти на 50 лет. У нас нет такого срока и при современном вооружении ни горцев, ни армии не хватит на длительное кровопролитие. Хотя, как старый солдат, вижу, чувствую: скоро не кончатся. Вот чеченка кричит в отчаянии: "Россия, ты получишь много Афганов!" А при чем тут Россия? Жаль несчастных людей и жаль мальчишек, пригнанных туда. Скажут: и на той войне, с немецким фашизмом, были такие же мальчишки. Да, но ими владело сознание, что родина в опасности. А сегодня почему, зачем они должны рисковать своей жизнью, во имя чего?

На улицах Грозного горят в танках дети. А ведь давным-давно признано, что танки как личное оружие нигде не годятся. Их, между прочим, не надо было и в 45-м в Берлин вводить, где на узких улочках любой парнишка, любая старуха могли шурнуть в бок танка фаустпатронами, вот и горело там одновременно 750 наших танков. С дуру влезли в город, ввязались в уличные бои, а если бы Берлин окружили, блокировали, то встретились и договаривались бы с американцами дальше на 500 — 700 км, и условия, и переговоры были бы другие, а главное, сохранили бы жизнь сотням тысяч русских ребят. Но Сталину и Жукову надо было, чтоб Берлин пал — на весь мир какое впечатление произведет эта политическая акция! Чего уж тут думать о жертвах, тем более о телах погибших! Великий грех — не предать их земле. Немцы ночью подбирали своих, хоронили. А мы и тогда не спешили и до сих пор во многих местах этого не сделали. Напиши, пожалуйста, что не на митингах с портретами преступного генералиссимуса орать, не медалими бречнать, а надо, обязательно надо к 50-летию Победы по оврагам, болотам пройти, волховским, березанским под Киевом, по всем, где полегли наши бойцы, стрелки косточки соев, тысяч, а может, и миллионы наших воинов, сделать памятные захоронения. Это большевики породили такое презрительно-плюевое — им на все плевать — отношение и к жизни, и к смерти.

Война в Чечне продемонстрировала всему миру, что мы ничуть не изменились. Все те же. В Красноярске огромный завод — почти в пять километров протяженностью — выпустил один экскаватор, водку-шампанское выпили, цветов на него бросил товарищ Федорко. Вынеска гласит — экскаваторный завод, а на нем танки изготавливать, да их надо было тысячами в стране, зачем же еще танковый завод строить? Потому что народа своего боится. Никто его так не боялся, как коммунисты, потому они все время и боролись с ним самым невероятным образом. Новочеркасск забыли, что ли? А что делали в Термитау, в Тбилиси, в Вильнюсе — танками же народ мяти. Теперь война в Чечне, и ничего другого, как снова бросать танки на город, не придумали. Как же надо презирать свой народ — о мало-мальском чувстве любви, жалости и говорить не приходится, — чтобы на мальчишек, гибущих один за другим в Чечне, смотреть как на пущенное мясо! Вот и лежат они неопознанные, и бедные матери не знают об их несчастном конце.

— Еще в мае 81-го года, когда была у вас в Овсянке, вы говорили, что ваша главная книга о войне вперед и что вы уже много лет готовитесь к ней. "Хочу написать о запасных полках". В конечном счете от того, как велась там подготовка, во многом зависела наша потеря и утраты на пути к победе. Рассказу о восьми днях, проведенных мной на днепро-карпатском плацдарме. В них как бы сконцентрировались страсти, ужасы, проклятия российской войны. Тут память прилетела ко мне, и я, дама, мой крестик. "И тогда же я услышала от вас отзыв о "Блокадной книге" Адамовича и Гранина, который вспоминал сегодня, когда читал ваших "Проклятых и убитых": "Это великая способность — двигаться навстречу страданиям своего народа. Чтобы написать такую книгу, сколько надо перестрадать. Подобный труд сжигает сердце художника..."

— Да, так и есть: первая книга "Чертова яма" — о запасном полку, о котором у нас вообще помалкивали, что там делалось, как доводили нас до ручки перед отправки на фронт, лучше б сразу отправляли. А вторая — "Плацдарм" — семь дней и все остальные, когда все сливается в беспредельный кошмар. Тяжело, тяжело писалось. Одно дело — пережить мальчишкой все это. В моей новой повести взволнованно говорит: "Всегда солдату завидовал, что тот лег — свернулся, встал — встряхнулся..."

— Наверное, пожалуйте, что переживаю, но я так понимаю, что после романа вы уже не пишете новую повесть о войне, потому что, значит, не "отболели", я, в ведь признавались, что, творя роман, надеетесь "отболеть войну в последний раз".

— Я ведь плана начал повесть эту гвоздиль и написал вчерне за полтора месяца. Так вот, одно дело — 18-летним переносить фронтную жизнь-нежизнь, и другое дело — пропустить войну сквозь себя сейчас, уже осознанно, имея опыт и насмотревшись, начитавшись, в том числе и противной литературы, и кинокадратуры, которым хочется возражать. А возражать только и можно, воспроизведя мою войну, не всеобщую, а именно мою.

— Читая: "...Шли и шли бойцы и командиры Великогоотничьяго плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, то что падали, больше не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собой, загнанно хрюя от пыли и простуды, словно в старые, довоенные времена, словно в ранешнем, довоенном кино, с обнаженными пистолетом шел командир батальона Шусь. Но не было никаких киношных, патристических криков, никакого "ура", только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересеченно-овражистая, не давала возможности атаковать дружным киношным строем. С кручи на кручу, с отвеса на отвес, из ямы в яму, из оврага в овраг вдоль берега еле лигались небольшие, недоуморенные, вшами не доведенные бойцы, все еще пытающиеся исполнять свой неоплаченный долг".

— Как говорил Симонов — великая

фраза, — "всю правду знает только народ!"

— Но народ, по определению того же Платонова, "без меня неполный".

— Он самоуверенный был. Мы не такие. Но, конечно, правда войны — это правда и А.Платонова, и В.Некрасова, и К.Воробьева, и В.Кондратьева, и В.Курочкина, и Е.Носова, и В.Быкова, и, смею верить, моя тоже. Я Василия очень люблю, и он меня любит, я ощущаю это. Напишет раз в год письмо мне, и я ему тоже, но знаю, что он где-то там далеко есть, и мне легче.

— А ему в Белоруссия и сегодня не дают спокойно работать, злобно поносят его войну.

— Как же такого автора не бить, не ру-

жик. "У самого маршала Жукова в голове шумит", — отчитывал меня знаменитый профессор, к которому обратился с жалобой на постоянный шум-звон в контуженной голове. Жуков — продукт времени, и этим все определено. Когда Ельцин был в Красноярске и заговорили о памятнике Жукову, где его ставить, мы сказали: не на Красной площади. Красную площадь надо очистить. Убрать мавзолей с этим маскарадом, убрать вельможные могилы, переставить, вернуть на место памятник Минину и Пожарскому, надо восстановить исторический лик площади. А все, что касается современности, — на Поклонную гору, и памятник Жукову туда же.

идет с портретом Сталина на площадь? Что это?

— Скудоумие.

— А как вам кажется, в России может возникнуть такое явление, как русский фашизм? Вы говорите: "наши фашисты", — значит, ощущаете их присутствие.

— А почему не может? В России так много прививалось всего противоестественного, в том числе и революция, которую пробовали прививать во многих странах, но удалось только у нас. Сейчас время обнажило, какие разрушительные ее последствия мы претерпели. Есть такое русское слово "порча". Мы даже не понимали, какой порче подверглись. Не знаю,

маленькой Полинке фрукты требуются, хотя бы яблоки... Говорили, что писатели вынуждены зарабатывать на жизнь другим трудом — кто пекарем, кто сторожем стал, кто еще куда-то устроился.

— Так то писатели, ни у кого почти сейчас книги не выходят, гонимых нет.

— Откуда же тогда разговоры, что народ голодает, что множество людей за чертой бедности?

— А это красные подкачивают. И, кстати сказать, пресса помогает маленькому в этом деле. Надо было позаботиться о 5 — 6 процентах действительно бедствующих людей. Как? А вот у нас бизнесмен и предприниматель Сергей Зырянов взял

ся. Про писателя съезжают непременно: "Ишь, как сыр в масле катается". Если идет катер по Енисею, показывают: вот сослуживцы новых русских, а вот — дача Астафьева. А я как жил в избе деревенской, так и живу, подмерзновал слегка, победил изнутри — хорошая и удобная работа и отдых изба. Лес подрост, на огороде стало красиво. Приходят два рыла, ломают ограду: "Сука, людям картошку негде садить, а он тут цветочки развел". Куда я денусь от этого? В "Правде" про меня написали: от народа оторвался. Да я и рад бы от него оторваться, хоть немало бы с голландцами пожить. А недолго поживу, так тнет к этому ко всему. Говорю: "порча" же напущена!

Утром встаю — из-за гор солнце выкатывается, испорченный, но родной Енисей шумит, петухи орут — появились; односельчане ковыляют угрюмые с похмелья — тоже часть пейзажа. Печку топлю, мусор выношу, дрова затаскиваю и отбавляю за утро "кусочек", который мне предстоит написать. Сажусь за стол, а он уже готов в башке — только води ручкой по бумаге и ни о чем не думай.

— Мне казалось, что, побывав в Иерусалиме, на Святой земле, вы напишете что-то об этом путешествии — "затеси", а может, большой рассказ, но ничего в периодике я не обнаружила. Поездка наверняка для вас неординарная.

— И не только для меня. Потому что я видел: входят в нишу Гроба Господня одни люди, а выходят другие. Если бы все там побывали, я думаю, ни кровопролития, ни междоусобицы, ни войны чеченской, никакой другой не было бы на нашей земле. Может, я всю жизнь готовил себя к этому, но и те, кого я видел у Гроба Господня, тоже, наверное, готовились. За несколько минут с тобой происходит такое, что объяснить очень трудно — эти чувства превыше нас и нашего рассудка. Это какое-то самоочищение прежде всего, это какой-то свет, который тебя всю жизнь тревожит и как-то освещает... Может быть, о посещении Храма Гроба Господня я вообще никогда писать не буду, может быть, не надо подвергать маринию на бумаге то, что творилось в душе. что происходит с нами в жизни так редко. Святые чувства, которые владели мной, пусть только со мной и останутся. У каждого, наверное, есть свои "запретные" темы. У меня — мама, я о ней не пишу. Я ведь и о Рубцове не пишу, и о Шукшине не пишу. К общему хору приставать не хочу. А по-моему — может оказаться не в ту степь. К тому же опять станет возражать, письма писать: вы оскорбили русского художника. Не хочу никого оскорблять — ни русского, ни еврейского художника. Мне не понравились стихи Бродского в большой публикации "Нового мира", я так и говорю в журнале: могли бы отобрать, не все печатать, а о полковнике Жукове его стихотворение — гениальное. Не хочу ни перед кем заискивать и никого оскорблять. Если когда допустил беспастность, грубость, ляпнул что, то это не со зла, не преднамеренно — ну, мужик, деревня, детдомовщина во мне сидит. Но ни я перед кем, никто передо мной раскрываться не должны — пред Богом все равно. Скорее всего о посещении Гроба Господня писать отдельно ничего не стану. Мое ощущение, мои чувства все равно где-то проявятся. Может, я и "Плацдарм" писал не без этого воздействия, и мой обращение к Богу с этой разбитой войной земли, с плацдарма, значит, я и правил как раз в это время роман, появились в рукописи благодаря пребыванию в Иерусалиме. Влияние на писателя, на его творчество, сама знаешь, оно обретается неизвестно как, когда. Бывает, сразу. Пошел в Риге в Домский собор и сразу напал.

— Я помню: "Дом... Дом... Дом... Домский собор... он по-над Ригой звучит". И помню еще, что поразило, когда вы мне читали эту "затеси": "Никого нет в зале... есть только моя присмирелая, бесплотная душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга... И вдруг как наваждение, как удар: а ведь в это время где-то целая в этот собор, в эту музыку великую... пушками, бомбами, ракетами". И тогда я подумала, что война из вас не выправлена, никакие радости жизни не вытесняют из души ее трагические ноты.

Вы упоминали стихи Бродского — успевайте следить за журналами?

— Смотрю в основном "Знамя" и, конечно, "Новый мир". В прошлом году в "Новом мире" было несколько вещей, по-моему, просто замечательных. Проца Инги Петкевич, которой дали название "Свободное падение", а надо было оставить "Плечас романой суки". Так называется ее большой роман, из него главы печатались. Великолепная "Казенная сказка" О.Павлова, рассказ М.Бугова "Известия", а в 12-м номере "Нового мира" — превосходный рассказ А.Эпштейна "Чулки со стрелкой". Доволатова прочел первый том и открыл для себя прекрасного прозаика. С удовольствием слежу за работами Михаила Кураева. Из недавно пришедших надежных прозаиков он, по-моему, самый приметный, только бы работал больше, самая у него мужицкая пора для работы зрелой, плодотворной.

— А новые романы Гранина, Владимова не читали?

— Пока нет. Вот поеду весной в Овсянку — там и наверстаю, Бог даст. Я мечтаю, что, когда дам повесть, маленько передохну, хотя и знаю, что долго праздную жизнь вести не смогу, уже отравлен и погублен привычкой к систематической работе.

— Когда вам вручали премию "Триумф", то подчеркивали, что вы стали лауреатом русской Нобелевки именно как русский писатель. При этом А.Битов дал свое определенное понятие "русский писатель". А ваше определение?

— По-моему, русский писатель — это писатель, живущий среди русских людей и знающий их не понаслышке, язык не по словарю, а ощущающий основу жизни локтями, боками и в какой-то мере осознающий, пропускающий через себя нашу действительность, что, между прочим, отнюдь не так легко, как кажется некоторым.

— А что бы вы пожелали народу нашему?

— Воскресения, воскресения, воскресения. Силы есть, способные это сделать. Не мешал бы впрямь Сатана и помогал бы Бог, которого мы гневим и гневим, но он иногда обращает к нам своей милосердной лик, прощает нам наши тяжкие грехи, спасает и врачует нас. На это и будем надеяться.

Так хочется жить

Разговор на фоне новой книги

И надо же было астафьевскому роману о войне (по сути своей, пафосу, естественно, категорически антивоенному) явиться к нам в эти кровавые дни. Давно еще, в одном из разговоров о литературе Астафьев сказал мне убежденно: "Случайного ничего в творчестве не должно быть, как не бывает ничего случайного в художественном мире вообще". Если спроецировать это на то, что завершение новинки — прозу Астафьева — и все сливается в одну безысходно мрачную картину безжалостного расчленения людей.

"Советское командование еще раз, который уж, не переживая противника, начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок... И снова рвало берег взрывами, снова было, поднимало воздух, трепало, разбрасывало, обращало в прах и пыль родимую землю... Боже милостивый!.. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом,

придумал все это... Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей на десять дней из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов... чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война... Чтобы они рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат... выбежавший из укрытия и воззвавший: "Да убивай-те же скорее!"

Слышу-смотрю: трупы российских мальчиков в Чечне не преданы земле, уже и воронье слетается, и крысы сбегаются на поживу. Читаю в романе: "...Похоронные команды... конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, ломатами, на волокушах, на носилках... свозили, стаскивали под яры... останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нателные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки... — все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы... Затерянных, разбросанных по оврагам, по закутам, по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс". Господи, каково же было столько лет носить в себе такое?! Жутко, выть хочется, не реветь, не рыдать, а выть — выть — выть, но по городской выучке не можешь расщедриться на то, что так естественно для женщин деревенских.

— Расскажите все-таки о новой повести — это конец войны, время после плацдарма?

— С 43-го года и до наших дней. Сконцентрировано все вокруг одного инвалида-фронтовика, через все прошедшего. И не просто прошедшего, но в силу своего витиеватого характера со всякими изгибами и загибами натерпевшегося. Чудик, конечно, в конце повести сидит на садовом участке и караулит капусту, чтобы ее ночью не украли.

— Вы когда-то, делая замысел романа, говорили, что будет третья книга — о том, как возвращались победители, как начинали жить, — значит, это вышло в повесть?

— В повести две части — "Дорога на фронт" и "Дорога с фронта". Обе дороги непростые, но с фронта — особенно. Как мы сходили, изувеченные, всеми брошенные на произвол судьбы, без специальности, без образования, никому не нужные — победители, гол как сокол. Верховоды в Кремле гуляют, друг друга награждают, а мы — кому до нас было дело?!

— А печатать уже отдели?

— Я когда-то обещал рассказ Бакланову в "Знамя". У нас с ним давно очень добрые отношения. Вместо рассказа повесть получилась, и я, верный данному слову, отдаю ее в "Знамя". Еще и потому, что впервые в толстом журнале, в 1959 году — ой, как давно-то! — был напечатан "Знамени" — тоже юбилей своего рода.

— Названия есть?

— Уже третье — "Так хочется жить". Слова эти произносит в повести, как заклинание, человек, который видит, что неплохо ему быть на земле, что скоро, скоро померет: "Давай выпьем, брат. Будем жить. Так хочется жить". Тем, кто остался жив и 50-летие Победы встречает, так хочется жить. И чеченцам хочется, и тем, кто там сейчас воюет. Всем хочется жить. Надо довести до крайнего состояния, чтобы хотеть: "Скорее убило бы". Видимо, жизнь — и награда, и мучение, и какой-то период, данный тебе в мироздании, что ты должен особенно его пройти, протоскочить это время о жизни всей. Сейчас люди особенно тяжело умирают, им винутили, что сгниют, что черви их съедят. Быть может, это самое тяжкое преступление коммунистов, что сделали людей атеистами, лишили веры в небесное будущее. Что там свет, там Бог, там Богородица. Люди умирали спокойно, готовились к этому уходу.

— И все же что толкнуло вас к этой повести сегодня?

— Да вот эти митинги с красными знаменами, эти рожи — в основном там бывшие воеводы и надзиратели-лагерники, настоящих то солдат осталось в крае 5 — 6 тысяч. Оружие эти толпы ничего, кроме чувства протеста и отпора, вызвать не могут, потому что живут к новому насилию, к крови. Мы общество наджасенное. Мы не восстановили население русское до сих пор. Мы не можем позволить себе новой свалки, к которой сегодня клечат наши фашисты, так прямо пиши — фашисты и останелье прохановцы. Он, Проханов, в Москве сидит, повсюду выметал вшивую жуткую. У нас в Красноярске, в Новосибирске, в других местах суетятся, организуют невесты что его последыши. И куда зовут? Потрясающе: зовут к светлому прошлому. И настолько кучный ум у них, что не понимают: "Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно".

— Отчего же старый израненный солдат

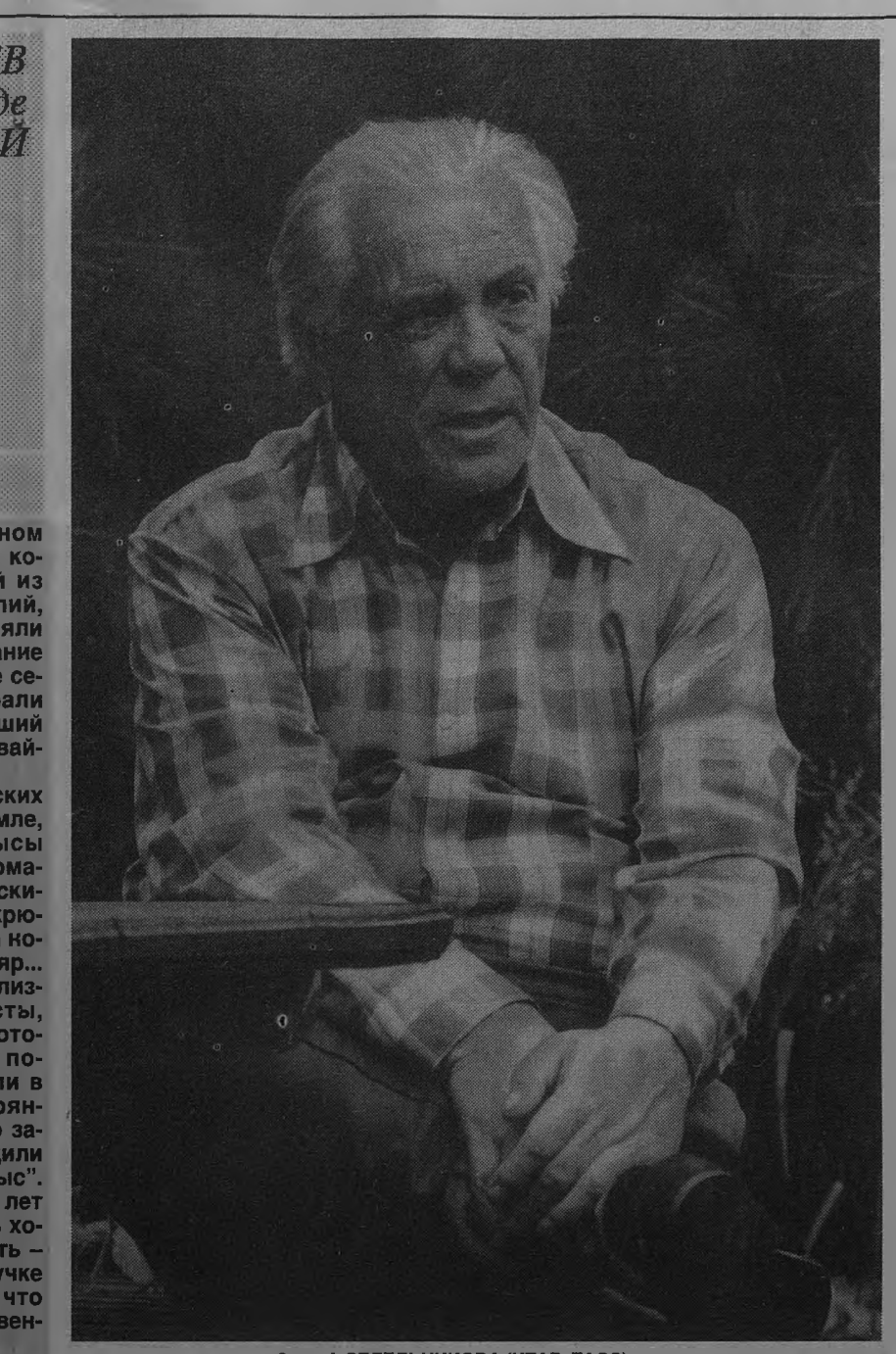


Фото А.СЕДЕЛЬНИКОВА (ИТАР-ТАСС)

как ты, а я в себе то и дело нахожу привычку к прежней жизни, какое-то согласие с ней. Хотя вроде бы все время ей сопротивляюсь, не состоял ни в пионерии, ни в комсомоле, ни в партии. И я писательство пытался вырваться из-под этой могильной плиты. Делать это было очень трудно. Я не уверен, что и до конца жизни мне удастся освободиться. Понимаешь? А старых дураков сейчас помнят: мол, дали кашу бесплатную, вернем дешевую колбасу, будем строить жилье, больницы, медицину бесплатную получить. И они встят и на площади бегут. Молодежи там нет, слава Богу.

— При том кризисе власти, который у нас сегодня, возможно ли, чтобы демократия совсем провалилась? Или она все же укоренилась?

— Товарищ Зюганов — этот современный Чичиков, — Константин, Исаков, Бабуринов — провокаторы самые настоящие, они все могут. Жирновского, конечно, не допустят до власти. Но своего выдвиженца — партийного пахана, объединившись в банду, вполне могут подосунуть народу. Созидаательные силы там никакой нет. Красные вообще никогда не были созидательной силой — только разрушительной. А что дальше разрушать? Если мне не изменяет память, во время Брежневского пропито 780 миллиардов от нефти. Только пропито! Золотой запас почти все распродан. Госустройство на мели... После 17-го года торговали картинами, иконами, церковными ценностями, обдирали Россию как могли. Но главное, почему тогда удалось нэл, — это честно работающие мастеровые люди, портные, парикмахеры, торговцы, землемаслы. Почему не удалось сейчас нэл? Да никто работать не хочет, тем более задаром, полударом. А в 20-х вкалывали.

— А почему надо сегодня задаром?

— Да ни в коем случае не надо. Вот верные ленинцы-сталинцы и хотят сделать снова такой социализм, чтобы один с ружьем стоял, а другой киркой землю долбил. Есть вожди сейчас в Думе, я их в лицо знаю, которые говорят, что надо уничтожить 12 — 15 миллионов снова, чтобы остальные жили счастливо. Половину населения — в гроб, тогда другая половина будет жить при коммунизме.

Меня потрясает все что. Я Москву-то не очень вижу, а в Красноярске бабы одеты в меха, в дорогие меха, в соболь. Мужики — в кожу. Дети, как популяйчики, наряжены. В заплаты никто не ходит. Приехал я на день поминовения на деревенское кладбище, где уже похоронена. Оно у нас большое, на три поселка — сплавщиков, деревообработчиков — и на полу деревню. Люд все рабочий да пенсионный. Так чуть не две тысячи машин около кладбища стоят, я прямо ахнул, и половина — иномарки. И на столах, Ирриша, не самогонка, я ее узнаю, закрашенную чаем. Длинные бутылки с дорогими напитками, "сникерсы" всякие, детки шоколадки кушают. И все ругают власть. Я вспоминаю первые послевоенные годы, когда мы ходили в стеганных бурках, а Марья Семёновна моя, фронтовичка, в телогрейке застудила груди, мастит заработала, и нечем ей было деточку кормить. Деточку хоронили. Тогда власть не ругали. А сейчас ее кланят. Никто не хочет работать, и все ждут хорошей жизни.

— Но вы же сами, рассказывая о своем

жизне-бытье, говорили, что нелегко вытеснить с внуками существовать на две пенсии, а